А. ПАЛЕЙ.

БУБЕН ДНЯ

СТИХИ.

Екатеринослав, 1-я тип. ГСНХ
1922.

К сведению книголюбов

Замечательный пример редакторской перестраховки

В выпуске 15 „Альманаха библиофила" (1983 г., 197) напечатано мое стихотворение. Вот в каком виде это появилось в „Альманахе":

Книгам

Наш век совместный был так мал
(А, впрочем, и довольно долог),
Как много раз я вас снимал
Поодиночке с этих полок,
Вникал в автографы друзей
(Так мало их осталось с нами).
Страниц касался я нежней,
Чем губ возлюбленной губами.

Сквозь очертания ваших строк
Живые голоса звучали.

О чем здесь идет речь? Сгорели ли книги при пожаре? Украли ли их? Конфисковали ли их за крупное неплательщичество в налогах? Не гадайте. Прочтите лучше тот текст, который был сделан автором:

Прощание

Сегодня иль когда-нибудь
(Конечно без всякого сомнения)
Меж мной и вами ляжет путь
Одностороннего движения.
Наш век совместный был так мал
(А, впрочем, и довольно долог).
Как много раз я вас снимал
Поодиночке с этих полок,
Вникал в автографы друзей
(Так мало их осталось с нами),
Страниц касался я нежней,
Чем губ возлюбленной губами.

Сквозь очертания ваших строк
Живые голоса звучали.
Но предаваться ли печали,
Когда настанет строгий срок?
Я рад, что память обо мне
Вы в четком шрифте сохраните
На вашей утлой бумаге —
Прочней, чем вырезь на граните.

Легендарный Прокруст производил операции над головой и ногами своих клиентов. Редакция „Альманаха" сделала сразу и то и другое — отсекла начало и конец. Да еще голову (заглавие) изменили. И мне не показали.

Идея такой маскирующей перестраховки прослеживается вполне четко: читатели (упаси Бог!) не должны знать, что люди смертны. А мне в этом году было уже 90 лет.

18 октября 1988.

А. ПАЛЕЙ.

БУБЕН ДНЯ

СТИХИ.

Екатеринослав, 1-я тип. ГСНХ
1922.

Р. В. Ц. № 126. Екатеринослав.

Звенящий бубен дня грохочет в небе синем.
В моей душе опять обилен слов улов.
Хочу молиться вновь отвергнутым святыням
и внемлю зовам всех колоколов.

Опять, чтоб унести к далеким странным странам,
на рейде ждут меня, белея, корабли,
и сердце верит всем пленительным обманам
стремительно несущейся земли.

1920.

СОЛНЦЕ.

Мы не умеем и не смеем
поднять к высотам гордых глаз,
а солнце тем же жарким змеем
с пространства неба жалит нас,
все тем же пламенным тимпаном,
вращаясь, бьется и звенит,
и каждый полдень неустанно
венчает огненный зенит.
В нем страстный зов и острый вызов.
Оно зовет от крыш и стен
к огню божественных капризов,
к сиянью царственных измен.
Оно зовет друзей покинуть,
велит любовницу забыть,
неверный новый жребий вынуть
и счастье старое разбить,
и не боясь ни бурь, ни бедствий,
и не жалея ничего,
расправить парус путешествий,
уйти из дома своего.
И звук и свет неотразимый
стремит во все концы земли—
о, солнце, брат неотторжимый,
неотвратимый властелин!

1921.

КУЗНЕЦ.

Я целый день стою над горном,
вздувая черные меха.
В труде медлительно-упорном
кую пленительность стиха.
Я раскалю его на страсти,
тревогой гнева напою,
и будет он исполнен власти,
вдохнувший ненависть мою.
Ему любовь мою отдам я.
Он станет светел, как кристалл,
когда сверкающее пламя
покорным сделает металл.
Пока не сдавит сердца холод,
гоня пыланья благодать,
в него бросать я буду молот,
чтоб форму вечную придать.
И, обозначив четко грани
и твердость их преодолев,
на них узором начеканю
изгибно-радостный напев.
И в пеньи буйном и крылатом,
неся огонь и торжество,
пусть в мир умчится стих мой—атом
живого сердца моего.
Он будет жечь горячим гневом,
он будет нежить без конца,
он будет радовать напевом,
и, словно молот, бить в сердца.

1917.

Р А Б.

Усталый раб восходит горной кручей
из тишины смеющихся долин,
чтоб принести воды в бадье скрипучей:
так приказал могучий властелин.

Бадья тяжка. Дрожат от боли руки.
Опущены ресницы скорбных век.
Но бледный раб не бросит острой муки:
он с ней давно сроднился—и навек.

Жжет солнца лик томительным пожаром.
Ты одинок. Ты бледен. Ты устал.
Не будь рабом! Разбей бадью ударом
о склоны гор, о ребра острых скал.

1917.

Забиты диктом, окна смотрят слепо,
и крыши сорваны, и души холодны,
и жизнь томит, как затхлый холод склепа,
даже сегодня, в ясный день весны.

А мне совсем иная жизнь желанна:
тревожной преисполненный мечты,
я вспоминаю лейтенанта Глана
очерченные Гамсуном черты.

Мои глаза в туманной тонут влаге,
в моих губах звучит бессвязный стих.
Во мне живет сейчас безумец—Нагель
„Мистерий“ Гамсуна. Вы помните ли их?

Вы их не помните. Уж вы давно поникли,
как горестные ивы при реке,
и девушка ли, юноша ль, старик ли,
вы думаете только о пайке.

Но в городе есть четверо иль трое,
хранящих в сердце буйный вешний бред,
и, может быть, из них взойдет живое,
на вашу тьму разлив горячий свет.

1920.

Помнишь? Зал в ослепительном блеске.
Ты проходишь, улыбкой дразня.
И хрустальные люстры подвески
отливают всей радугой дня.
Мимолетно—скользящие речи.
В ритме танца—дрожанье теней.
И твои обнаженные плечи—
ярче всех полуваттных огней.
А теперь—ты стоишь у раздачи,
ждешь насущного хлеба с толпой,
и лишь небо осеннее плачет
неустанным дождем над тобой.
Что ж? В суровом огне достижений,
среди тяжких забот и скорбей,
закаляет истории гений
в нас упорную волю к борьбе.
Пусть пощады безвольные молят—
кто отважен—пройдет этот путь.
Подымайте же творческий молот!
Больше воздуха в жадную грудь!
Мы оформленным мир этот помним,
а теперь—он бесформенным стал.
Ну, так что же? Расплавленный в домне,
выходя, застывает металл.
Мы умело должны его вылить,
ему четкие грани придать,
чтоб, очищен от грязи и пыли,
он светлей засиял навсегда.

1921.

Вся наша жизнь—контрастное слиянье
добра и зла, и радости и слез.
Иду по улице, где в дух гнилой тарани
вливается ритмичный запах роз,
где в остроту изысканных мечтаний
врывается тяжелый стук колес,
где нищий, вор и проститутка рыщет,
где нежный взор возлюбленную ищет.

Иду и думаю: когда бы зла не знали
и мозг, и слух, и чуткие глаза,
то в этом мире призраков едва ли
так радовали б розы, и гроза,
и милых глаз призывное мерцанье.
Привет нелепости во имя красоты,
и тлению—во имя расцветанья,
и в честь гармонии трещанью суеты.

1921.

Что на свете отрадней и слаще разлуки?
Бьет солеными брызгами ветер в лицо.
Словно чайка—стремительный парус фелукки.
Ты медлительно вышла на наше крыльцо.

Больно рвать у сердец нежнозвучные струны—
но прекрасен в просторах родившийся шквал—
и о нем говорят и грохочут буруны
возле вечным прибоем встревоженных скал.

Отыскал в их напеве я гордые зовы,
что давно уже тайно дрожали во мне,
от которых в душе моей трепет грозовый.
от которых душа в исступленном огне.

Мечет ветер в лицо мне соленые брызги.
Ты бессильна с твоей покоренной мольбой—
когда скрипы снастей, и канатные взвизги,
и седой океан, и гремящий прибой.

Все людские, земные, ненужные связи.
от которых как слизень размякла душа,
порываю в священном надменном экстазе,
многоликою дикою волей дыша.

Со свободой отныне навек неразлучен,
устремляясь к пространствам неведомых стран,
буду холоден, дерзок, певуч, многозвучен,
как и ты, мой свежительный брат—океан.

1920.

Весеннее солнце. Проспект оживленный и людный.
Блестящие зубы на смуглом лице у чистильщика—
перса.
О, встречная девушка! Путь твой—суровый и
трудный.
Поэту—блуждателю, не рассуждая, доверься.

Уйдем и побродим далеко, в Потемкинском парке,
где нет уж деревьев, но скалы прекрасны как
прежде,
где струи речные от солнца слепительно ярки,
где много простора и взору и гордой надежде.

Побродим, порадуем сердце веселою новью.
Я знаю, что ты на земле не совсем одинока.
Быть может, я тоже там, в городе, связан любовью.
Так что же? Сегодня от всех мы побудем далеко.

А после вернемся и снова сольемся с другими—
но оба, среди городского движенья,
забывши друг друга условно-мелькнувшее имя,
нетленным в себе сохраним аромат впечатленья.

1921.

Ни стен, ни кровли не дано мне.
Неуловим мой быстрый конь.
Кто исступленней, кто бездомней,
чем я, усталый от погонь,
чем я, летящим водопадом
людскую вспенивший струю,
чем я, воспевший струнным ладом
любовь и ненависть мою?

Проходят дни, проходят годы—
но буйной жизни нет преград—
и я ветрам моей свободы
и неуютной степи рад.
Блуждаю, вечный бесприютник,
в мерцаньи ночи, в блеске дня,—
и лунный серп, мой грустный спутник,
безмолвно смотрит на меня.

1919.

ЧУДО.

Нет синих звезд, которые дрожали
с задумчивою лаской над землей.
Есть письмена неведомой скрижали,
разбросанные в тверди голубой.

И жадный взор вонзая в сонмы знаков,
читаю слов неясных пестрый рой,
чей темный смысл так странно одинаков
со смыслом строф, дарованных судьбой.

Пройдут века. Пройдут миры и люди.
Но я в стихах оставил весть о чуде,
свершившемся сегодня в час ночной,

когда светила синие над нами
на краткий миг блеснули письменами,
разбросанными в тверди голубой.

1916.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.

Холодный ветер—буйственный оратай—
вспахал напрасно снеговую новь
и сеет снег кошницею богатой:
его посев бесплоден и суров.

Отары туч так низко над землею
стремительный проносят бег. Метель—
седой пастух с пушистой бородою—
дудит в свою визгливую свирель.

А я иду, скользя и спотыкаясь,
и кто мне скажет, сколько дней еще
я обречен идти, блудя и каясь,
пока не вспыхнет солнце горячо.

1920.

Закину плащ небрежный за плечо,
возьму стихи тревожного поэта—
и в дальний путь. Звеня, смеется лето.
Я молод, и я радостен еще.

Мне светит день сияньем ясно-алым,
мне светит ночь мерцаньем звездных сфер.
Прильну ко всем волнующим бокалам:
упьюсь большим, доволен буду малым...
Я не бессмерген—я не Агасфер.

В урочный час догрежу, дозвеню,
дотлею пеплом светлым и прощальным,
блесну стихом веселым и печальным
огню и дню.

1920.

Моя душа, тревожный буревестник,
тоскует здесь по звездной вышине.
Суровый Бог, моей души ровесник,
грустит в далеком небе обо мне.
И только в исступленном вдохновеньи,
в мистерии творимых мною строк,
сливаемся на быстрое мгновенье—
мятежник—я и созерцатель—Бог.

1920.

Дождь отзвенел. Я молча вышел в поле.
Земля сыра, и скачут лягушата.
Вдыхает грудь весенний воздух вволю.
Дорога вьется и зовет куда-то.

Она зовет. Жена и дети дома.
Жена готовит на спиртовке кофе.
Мне дома все мучительно знакомо.
Хочу уйти к неведомой Голгофе.

Да будут тяжкий труд и стыд и горе—
но да сожжет меня огонь — свобода.
Синей же, степь, волнуйся, словно море,
под вечно хмельной чашей небосвода.

1920.

С каждым мигом все гуще потемки.
Я напрасно сижу на руле:
лишь случайные песен обломки
доплывут к незнакомой земле,
и волна их забросит на берег.
Безучастно глаза дикарей
в них прочтут о тяжелых потерях
и о радости легкой моей.
И никто не поймет, как вначале,
при мерцании первой звезды,
эти стройные песни звучали
над огромным пространством воды.

1921.

Цена 50 коп.